



ДЕНИС ГРОМОВ

САПЁР

ПАНЦИРНАЯ ПЕХОТА

★ КНИГА 2 ★

Денис Громов

Сапер. Панцирная пехота

<https://litres.ru/74496423>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сапёр из нашего времени приходит в себя в июне 1943 года — в теле молодого красноармейца, которого с маршевым пополнением отправили под Курск.

Вокруг подготовка к главной битве войны: ночные минные поля, тысячи мин за смену, поля, которых никто не записывает. Батальон теряет людей не от вражеского огня, а на собственной работе. У него нет ни техники, ни времени, зато есть опыт, методика и умение видеть то, чего не видят другие.

Он превращает работу сапёра из смертельной лотереи в точный расчёт.

Немцы называют его Кротом.

Содержание

Пролог	4
Глава 1	11
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Денис Громов

Сапер. Панцирная пехота

Пролог

Гауптман Эрих Хальм не любил, когда его торопили, и за три года войны почти отучил начальство это делать.

Способ был простой. Если его торопили, он останавливался совсем.

Садился на подножку машины, доставал блокнот и начинал считать в столбик — молча, не поднимая головы, покамест торопивший не уходил. Дважды на него писали рапорт. Оба раза дело кончилось ничем, потому что после Хальма мосты не восстанавливались по три месяца, а дороги не открывались до весны, и это умели ценить.

Сейчас торопил обер-лейтенант Кребс из дивизионного штаба, и торопил уже двадцать минут.

— Господин гауптман, у меня приказ, — напомнил он. Дивизия начинает отход в ночь на двадцать первое. К этому времени всё должно быть закончено.

Хальм смотрел на реку.

Место было хорошее. Небольшая, метров сорок, речка с илистым дном, и через неё — деревянный мост на четырёх сваях, поставленный, судя по всему, ещё до той войны и с

тех пор трижды чиненный.

Мост был плох. Они разрушат его сами, при отходе, и русские наведут переправу за сутки. Они это делают быстро, и в этом вопросе им нужно было отдать должное.

Интересен был не мост.

Интересна была дорога, которая к нему подходила. С востока она шла по низине, и на протяжении двухсот метров перед мостом её нельзя было объехать ни справа, ни слева. Справа болото. Слева обрыв.

Двести метров, где всё, что едет, едет по одной колее.

— Господин гауптман, — не отставал тот.

— Я вас слышу, Кребс, — отозвался Хальм, не поднимая головы.

— Так что мне доложить? — не отставал он.

Хальм достал блокнот и открыл на чистой странице.

— Доложите, что я осмотрел объект и что мост будет разрушен в срок.

Кребс переступил с ноги на ногу. Ему было двадцать три года, он был в этой должности пятую неделю и до сих пор не понимал, зачем при дивизии держат человека, который не подчиняется никому в дивизии.

— А... остальное? — растерялся обер-лейтенант.

— Остальное вас не касается, — отрезал Хальм, а затем присел на корточки и потрогал грунт у обочины.

Песок с глиной. Держит. Не оплывает.

Он представил себе, как это будет.

Мост взорвут в ночь на двадцать первое, и русские наведут понтонную переправу — числу к двадцать четвёртому, если у них есть парк. К двадцать шестому, если парка нет и придётся везти. Потом по этой дороге пойдёт то, что идёт всегда: сперва боевые части, за ними артиллерия, за артиллерией — тылы.

И вот тылы поедут по одной колее, потому что объехать негде.

Он открыл блокнот и стал чертить.

Двести метров. Заряды не в полотно, а под, с обочины, подкопом, так, чтобы сверху земля осталась нетронутой. Три группы по три. Первую группу — на сто двадцатом метре, где дорога слегка проседает и где всякий, кто проверяет, обязательно замедлит шаг и остановится.

Он подумал и приписал сбоку: «Ложные: четыре, по обочине, на 40–90 м. Обнаружить легко».

Потом остановился.

И зачеркнул.

Кребс, стоявший в трёх шагах, увидел это и удивился: гауптман Хальм никогда ничего не зачёркивал.

— Господин гауптман, что-нибудь не так? — насторожился Кребс.

Хальм не ответил.

Он смотрел на зачёркнутую строчку и думал о том, о чём думал уже третий месяц.

В июле, на участке южнее, что-то изменилось.

Он это заметил не сразу. Сперва был хутор — объект, на который он потратил девять дней в марте и который они вскрыли за шесть суток, из них двое суток не работали вообще. Он тогда решил, что это случайность.

Потом был скат под деревней, где он девять дней строил всё против человека, ищущего укрытие, а они прошли по открытому.

Потом был проход в заграждении, из которого разведка вышла живой, обойдя его закладку вплотную по левой кромке — то есть человек, который вёл, вернулся и проверил собственный проход.

А потом ему принесли русскую печатную книжечку, снятую с убитого сержанта.

Двадцать страниц. Без риторики, без обычных их лозунгов. Разделение операций между номерами расчёта. Обязательная схема поля с привязкой к постоянным ориентирам. Учебное поле, тридцать часов на человека.

И таблица в конце: две тысячи четыреста против ста девяности.

Хальм читал её дважды и на второй раз понял главное.

Эту книжечку писал не штаб. В штабе не считают в таких единицах — в штабе считают выполнение плана. Так считает человек, который сам стоял на поле и сам писал письма матерям.

Он тогда впервые за войну испытал то, для чего у него не нашлось слова. Ближе всего было — облегчение.

Полтора года он строил против людей, которые его не видели. Они гибли, а никто из них до последней секунды не понимал, на чём именно.

А теперь на той стороне появился кто-то, кто может его «увидеть».

— Кребс, скажите мне одну вещь.

— Слушаю, господин гауптман.

— Вы когда-нибудь играли в шахматы по переписке? — поинтересовался он.

Обер-лейтенант растерялся. За пять недель гауптман Хальм заговорил с ним не по делу впервые.

— Никак нет, — растерялся тот. — У меня отец играет.

— Отвратительная игра, — поморщился Хальм и закрыл блокнот. — Ход идёт две недели. Пока он идёт, ты успеваешь передумать про своего противника всё, что можно передумать про живого человека. К тридцатому ходу ты знаешь его лучше, чем собственную жену, и при этом не знаешь, как он выглядит.

Он поднялся и отряхнул колени.

— И вот однажды приходит открытка, и по одному ходу становится ясно, что он тебя тоже читал. Всё это время.

Кребс молчал, потому что не понимал ни слова.

— Ложных не будет, — обронил Хальм, глядя на дорогу. — На этом объекте — ни одной.

— Простите, я не понял.

— Запишите себе, если вам интересно, чем я тут зани-

маюсь. Приманки ставят для того, чтобы противник нашёл, успокоился и доложил. Это работает против человека, который ищет, где может лежать.

Он пошёл к машине.

— А против человека, который ищет, где он сам решил, что лежать не может, приманка работает наоборот, — прибавил он через плечо. — Он найдёт четыре штуки и после этого не успокоится, а насторожится. И станет искать вдвое внимательнее. Я ему помогу, если поставлю.

Кребс поспешил следом.

— Господин гауптман, а если он всё-таки найдёт? — не отставал Кребс.

Хальм остановился у дверцы.

— Тогда двести метров дороги будут открыты на девять дней позже, — обронил он. — И это тоже результат, оберлейтенант. Просто его никто никогда не считает.

Он сел в машину и раскрыл блокнот на коленях.

Водитель — ефрейтор Штайнер, возивший его с сорок первого и научившийся не задавать вопросов, — молча развернулся на узкой дороге в три приёма.

Хальм в это время думал не про мост.

Он думал о том, что за последние два месяца впервые за войну стал делать глупости.

Три сообщения на кирпичной кладке — это была глупость. Профессиональная, объяснимая, но глупость. Инженер, который оставляет подпись на объекте, перестаёт быть

инженером и становится человеком, которому нужно, чтобы его прочли.

Он это понимал совершенно отчётливо.

И знал, что напишет четвёртое.

Пока водитель разворачивался, гауптман Эрих Хальм успел написать ещё одну строчку — не про этот объект, а в конце тетради, где у него шли записи не по службе.

«Он не отвечает.

Я оставил ему три сообщения. Первое в марте, второе в июле, третье в августе, в Орле. Ни одного ответа.

Это, вероятно, самое неприятное из всего, что я о нём знаю».

Глава 1

Полуторка шла на север третьи сутки.

Это была не дорога, а перемешанная тысячами колёс глина, и от Орла до Брянска мы тащились столько, сколько до войны поезд шёл от Москвы до Крыма.

Я сидел в кузове на своём вещмешке, привалившись к борту, и смотрел как мимо проползает то, что осталось от Орловской области.

А осталось немного.

Деревни стояли трубами. Не одна и не две — все подряд, километр за километром, по обе стороны. Чёрные печные столбы в бурьяне, по три-четыре десятка на село, и между ними натоптанные заново тропинки.

Потому что люди вернулись.

Они жили в погребах и в землянках, вырытых на месте огородов. Из ям торчали жестяные трубы, из труб шёл дым. На третьи сутки я насчитал за один час одиннадцать таких дымков, а затем бросил это занятие.

У обочин стояли бабы и менялись.

Не продавали — менялись. Варёная картошка на махорку, махорка на соль, соль на что придётся. Когда колонна вставала, они подходили к бортам и глядели снизу вверх, и одна на второй день спросила у меня, не из-под Ливен ли я и не встречал ли Николая Прошина, тридцать девятого года при-

зыва.

Я сказал, что не встречал.

Она кивнула и отошла — так, будто ждала именно этого ответа, так как получала его уже сотый раз.

А через полверсты у обочины стоял покосившийся столб с прибитой поперёк доской, и на ней углём, крупно, было выведено: «Мама я жив ищи Веру у тёти Поли». Ни фамилии, ни числа.

Таких досок я потом за три года посмотрелся на всех дорогах от Орла до Германии.

— Слышь, сапёр, — обернулся ко мне шофёр на очередной остановке. Он был пожилой, с рыжими прокуренными усами, и всю дорогу разговаривал сам с собой. — А ты чего один едешь? Тебя чего, наказали?

— Перевели меня, — честно ответил я.

— Это куда ж тебя?

— В бригаду. Штурмовую инженерно-сапёрную.

Шофёр помолчал, разглядывая меня через плечо.

— Это которые в железе ходят? — уточнил он.

— Говорят, в железе, — кивнул я.

— Ага, — он сплюнул в глину и полез в кабину. — Ну, езжай. Я их видал под Кромами, в июле. Они там дот брали, я мимо проезжал.

— И как оно вышло?

— Да никак, — отмахнулся шофёр. — Взяли и взяли, — он захлопнул дверцу и высунулся в окно. — Только их туда

двадцать два человека пошло, а обратно я насчитал одиннадцать. Я, конечно, мог обсчитаться, я на ходу это делал, — добавил он, но я почему-то был уверен, что именно так все и было.

Бригада стояла в лесу под Карачевом, и первое, что я увидел, был турник.

Не палатки, не машины, не часовой. Турник.

Он был вкопан прямо у въезда, на утопанной до каменной твёрдости площадке, из двух ошкуренных сосновых столбов и куска водопроводной трубы, отполированной ладонями до зеркального блеска.

Под перекладиной в глине была вытоптана канавка — от тех, кто прыгивал. Не ямка, а именно канавка, в два сапога шириной. Значит, прыгали сюда сотнями и не первую неделю.

На нём висел человек и подтягивался.

Медленно, ровно, без рывка, с полной паузой внизу. Пока полуторка разворачивалась и я слезал через борт, он сделал восемнадцать раз, прыгнул, встряхнул кистями и пошёл прочь, ни на кого не глядя.

— Тебе куда? — окликнул боец у шлагбаума.

— В штаб, по предписанию, — отозвался я.

Он оглядел мою скатку, вещмешок, медаль на гимнастёрке и, кажется, остался чем-то недоволен.

— Иди прямо, потом налево, землянка с трубой, — объ-

яснил он. — Только ты не спеши радоваться.

— А чего мне радоваться? — не понял я.

— Дык медали, — буркнул он и отвернулся.

Штаб был в землянке.

Писарь взял предписание, прочитал его дважды, отложил и не глядя потянулся за журналом.

— Ковалёв. Первый батальон, третья рота. Комиссия завтра в восемь.

— Какая ещё комиссия? — не понял я.

Он поднял голову, и на лице у него появилось выражение, которое я потом видел в этой бригаде раз двести: смесь сочувствия и любопытства.

— Обыкновенная, — пояснил он. — Врачебная.

— Я по предписанию, — напомнил я. — По именному.

— Все по предписанию, — не поднял головы писарь. — Комиссия завтра в восемь, палатка у медпункта. Голым по пояс, портянки перемотай свежие. Вчера одного за портянки завернули и обратно отправили, я сам бумагу выписывал.

Ночевал я в палатке на двадцать человек.

Спали на нарах в два яруса, было тесно и душно, пахло сапогами, махоркой и ружейным маслом. Всю ночь кто-то в дальнем углу кашлял, глубоко и надсадно, и всю ночь никто ему не сказал ни слова, из чего я понял, что он кашляет тут не первую неделю.

Я лежал на верхних нарах, у самого брезента, и слушал.

Разговоры были не такие, как в двести тридцать пятом.

В батальоне говорили про еду, про дом, про то, кого куда перевели и кто чего слышал про наступление. Тут говорили про полосу.

— ...я тебе говорю, через ров он с полной не сиганёт.

— Сиганёт, куда денется, — не уступал первый.

— С нагрудником-то? — усомнился второй.

— С нагрудником, положим, не сиганёт, — согласился первый голос. — Только он его и не наденет. Он его снимает и в зубах несёт, я сам видал в среду.

— Так это ж не считается! — возмутились в темноте.

— А ты Луконину скажи, что не считается. Ты подойди и скажи.

Кто-то в темноте хмыкнул.

Я лежал у брезента и думал про то, что мне девятнадцать лет.

Точнее, что телу моему девятнадцать лет.

Тело это досталось мне четырнадцатого июня, и с тех пор я его кормил чем придётся, спал в нём по четыре часа и таскал на нём ящики. Оно окрепло: на руках появилось что-то похожее на мышцы, ладони задубели, я перестал задыхаться на подъёме и мог теперь пройти двадцать километров и не сдохнуть.

Но роста в нём было метр шестьдесят восемь, и весило оно, я думаю, килограммов пятьдесят пять.

А человек на турнике, которого я видел днём, весил ки-

лограммов восемьдесят, и все восемьдесят были из мяса.

Комиссия была короткая.

Врач — усталый капитан медслужбы с седой щетиной и красными веками — послушал, простучал, велел присесть двадцать раз, посмотрел зубы, посмотрел глаза, помял живот.

Потом взял мою карточку и стал в неё что-то писать.

Писал долго.

— Товарищ капитан, у меня что-то не так?

Он положил карандаш и откинулся на табурете.

— Вес у тебя, — уронил он. — Пятьдесят четыре килограмма, — перечислил врач. — Рост сто шестьдесят восемь. Возраст девятнадцать.

— И что с того, товарищ капитан?

— Ковалёв, вы вообще понимаете, куда вы приехали?

— В штурмовую бригаду, товарищ капитан.

— В штурмовую бригаду, — согласился врач. — А знаете, сколько весит выкладка штурмовика?

Я не знал и сказал об этом.

Капитан загнул палец.

— Нагрудник — три шестьсот. Автомат с боекомплектом — шесть. Гранаты — четыре, а бывает и шесть. Заряд — от восьми до двенадцати, смотря какой. Плюс лопата, ножницы, кошка, шнур, фляжка и всё то, что человек по дурости берёт с собой сверх положенного.

Он разогнул пальцы.

— Двадцать пять — тридцать килограммов. Постоянно, а не на переходе. И с этим надо бежать четыреста метров, прыгать через ров и лезть в окно на высоте двух метров.

— Понял вас, товарищ капитан.

— Ничего вы не поняли, — он отодвинул карточку. — У вас это половина собственного веса. У Луконина, для сравнения, треть. Разница не в том, что ему легче. Разница в том, что вы через восемь минут упадёте, а он через сорок.

Я стоял.

Он поглядел на меня и вздохнул.

— Ограниченно годен, — подытожил он. — Я вам так и напишу. А дальше решать не мне, и, честно скажу, я вам не завидую.

Из палатки медпункта я вышел с карточкой, на которой стояло «ограниченно годен», и с полным пониманием, что это конец.

Я стоял перед палаткой минут пять.

Есть такое состояние, которое я в первой жизни знал по служебным разбирательствам, а тут узнал заново: когда решение уже принято не тобой, и сделать ничего нельзя, и от этого наступает странная лёгкость.

Я сел на ящик у медпункта и стал думать, что буду делать, когда меня отправят обратно.

И понял, что мне некуда возвращаться.

Двести тридцать пятый уходил на переформирование. Панкратов оставался при штабе. Прохоров уехал к Северцеву. Гурьев принял мой взвод. Прокудин, ливенские, Тагир — все они были при деле, и место моё там было занято.

А тут меня не хотели.

— Не сиди на железе.

Я поднял голову.

Надо мной стоял тот самый капитан медслужбы. Он вышел покурить и держал папиросу в кулаке, по фронтовой привычке, хотя стояло утро и прятать огонёк было не от кого.

— Простыну, что ли?

— Не простынешь, — он затаился. — А привычка дурная. Ты потом на морозе так сядешь.

Он поглядел на карточку у меня в руках.

— Ты, старший сержант, вот чего не думай, — успокоил он. — «Ограниченно годен» — это не приговор, это моя подпись под моими цифрами. Я тебе взвесил и померил, а решать будет Гурьянов, и он на мои бумаги плюёт с высокой колокольни.

— И часто плюёт?

— Через раз, — усмехнулся врач. — Он у меня в июле одного взял, у которого одна почка. Я на него рапорт написал, а он мне ответил, что человек с одной почкой прошёл полосу за семь двадцать, а я за сколько?

Он усмехнулся и бросил папиросу.

— Так что ты не хорони себя раньше времени. Ты полосу

пройди.

— Я её не пройду, товарищ капитан.

— Знаю, — не стал спорить капитан. — Ни один новый её с первого раза не проходит. Тут вопрос не в том, пройдёшь ты или нет. Тут вопрос в том, как ты будешь не проходить, — добавил он, и смерив меня слегка насмешливым взглядом, вернулся в палатку.

Решал майор Гурьянов.

Он вызвал меня в тот же день, после обеда, и я нашёл его не в землянке, а на пне у входа, где он сидел и чистил ППШ.

Комбат был высокий, сухой, лет тридцати пяти, с бритой головой и длинным белым шрамом через всю левую кисть. Я потом узнал, что это не осколок, а собственная лопата.

— Ковалёв? Садись, чего стоять.

Я сел на второй пень.

Он не поднял головы. Прогнал ершом ствол, посмотрел на свет, отложил.

— Двести тридцать пятый отдельный сапёрный. Тринадцатая армия. Курская дуга, Орёл.

— Так точно, товарищ майор.

— Медаль за что?

— За разминирование объекта в июне, — доложил я.

Гурьянов протёр затвор ветошью и осмотрел его с обеих сторон.

— Что за объект?

— Дорога через хутор. Под полотном был заложен погреб.

— И сколько там было?

Я назвал.

Комбат перестал протирать затвор.

Поднял голову — впервые за разговор — и посмотрел на меня. Глаза у него были светло-серые и очень неподвижные.

— Это ты нашёл?

— Нашёл я, — уточнил я. — Снимал капитан Северцев из инженерного отдела армии.

— А ты что делал?

— Держал фонарь и подавал.

Гурьянов положил затвор на колено.

— Врач написал «ограниченно годен».

— Так точно.

— Ты знаешь, что я с такими бумагами делаю?

— Не знаю.

— Отправляю обратно, — он щёлкнул затвором. — У меня укомплектованность батальона шестьдесят один процент. Мне некогда возиться с ограниченно годными, у меня их и так двое, и оба на кухне.

Он поднял автомат и приложил к плечу, проверяя.

— А тебя не отправлю.

— А меня почему оставляете?

— Потому что тебя мне прислали не по разнарядке. Тебя мне прислали именной бумагой из инженерного управления фронта, и в бумаге стоит подпись, которую я до сегодняшне-

го дня видел один раз в жизни.

Он опустил автомат и повернулся ко мне всем корпусом.

— Так что ты за птица, старший сержант?

Я подумал, что ответить.

— Я сапёр, товарищ майор, — отозвался я.

Гурьянов усмехнулся — одним углом рта, коротко.

— Тут все сапёры, — отрезал он. — Тут, Ковалёв, тысяча четыреста сапёров, и у каждого второго награда. Ты мне другое скажи: ты через ров с полной выкладкой прыгнешь?

— Не знаю, товарищ майор. Врать не стану.

Он помолчал.

— А вот это, — произнес он. — Вот это мне в тебе понравилось. Что ты не сказал «прыгну».

Он поднялся, закинул автомат на плечо и отряхнул колени.

— Полоса завтра в шесть, — распорядился он. — Пойдёшь со всеми. Не пройдёшь — пойдёшь послезавтра. Не пройдёшь через неделю — отправлю обратно, и никакая именная бумага тебе не поможет, я на неё отпишусь в двух строчках.

— Есть пройти полосу, товарищ майор.

— И вот ещё что.

Он остановился и оглянулся.

— У меня во втором взводе третьей роты нет командира. Убило двадцать восьмого, на занятиях, при подрыве.

— На занятиях?

— На занятиях, — подтвердил Гурьянов ровно. — У меня за месяц формирования девять человек. Это, если тебе интересно, ниже среднего по бригадам.

Он пошёл к землянке.

— Взвод примешь после полосы. Если пройдёшь, — произнес он, и еще раз посмотрел на меня, а затем хмыкнул и покачал головой.

Нагрудник мне выдали вечером.

Старшина роты — огромный дядька с рябым лицом и с ключами на поясе, вытащил из ящика две железные пластины, соединённые ремнями, и бросил на стол.

Пластины грохнули.

— Мерь на себя.

Я взял.

Он был тяжелее, чем я думал.

Не по весу — по ощущению. Три с половиной килограмма — ерунда, я ящики по двадцать таскал. Но эти три с половиной висели спереди, на плечах и на груди, и центр тяжести уходил вперёд и вверх, и от этого сразу менялось всё: как стоишь, как поворачиваешься, куда девать руки.

Верхняя пластина закрывала грудь и живот. Нижняя, на шарнирах, — низ живота.

— Затягивай ремни, — распорядился старшина. — Туже. Ещё туже, не жалея. Он должен на тебе сидеть, а не болтаться, а то он тебе на бегу все рёбра пересчитает.

Я затынул.

— Теперь присядь.

Я присел. Нижняя пластина упёрлась в бёдра и не пустила.

— Так и должно, — он обошёл меня кругом, подёргал за верхний ремень. — Теперь ложись.

Я лёг на дощатый пол.

И понял, во что вляпался.

На животе в нём лежать нельзя.

То есть можно — но грудь оказывается поднятой над полом сантиметров на восемь, и ты лежишь не плашмя, а на железном коробе, как перевёрнутая черепаха. Прижаться к земле не получается. Локти разъезжаются.

А ползти я не смог вообще.

Попробовал раз, второй, третий. Пластина скребла по доскам и зарывалась передним краем.

— Товарищ старшина, а как в нём ползать?

— Чего-о?

— В нём же не поползёшь.

— А ты не ползай, — отрезал он и забрал у меня ремни.

— Я сапёр. Мне ползать положено.

Старшина сложил нагрудник в ящик и захлопнул крышку. Ключи на поясе звякнули.

— Ползают сапёры, — согласился он. — А тут, сынок, штурмовая. Тут не ползают, тут бегают. Ползать будешь, когда обратно переведут.

Он поглядел на меня и, кажется, пожалел о сказанном.

— Ты не серчай, — уступил он. — Я тут третий месяц, я уже привык. Ты, главное, полосу пройди, а там разберёшься.

Ужинали мы в тот вечер в темноте, потому что кухня опоздала.

Я сидел на бревне у палатки, ел пшёнку из котелка и разглядывал бригаду.

Разглядывать было что.

Первое, что бросалось в глаза, — здесь никто не сидел просто так.

В двести тридцать пятом человек, у которого выдалось свободных полчаса, ложился. Это был закон, и это было правильно: ложись, покуда дают, потому что через полчаса погонят.

А тут не ложились.

Двое у соседней палатки перебрасывались учебной гранатой — деревянной болванкой с ручкой, — перебрасывались молча и очень быстро, стоя шагах в пяти друг от друга. Один ронял — и оба начинали заново, не говоря ни слова.

Трое у костра вязали узлы. На верёвке, на ощупь, с закрытыми глазами. Тот, у кого выходило медленнее, отдавал второму папиросу.

А у турника, который я видел днём, в полной темноте кто-то подтягивался, и слышно было только, как поскрипывает труба.

Я доел, вытер котелок хлебной коркой и подсел к тем, кто

вязал узлы.

Они подвинулись, не спросив, кто я.

— Слышь, — окликнул тот, что постарше. — А ты откуда прибыл-то?

— Из-под Орла. Двести тридцать пятый отдельный сапёрный.

— Дивизионный, что ль?

— Армейского подчинения.

Он покивал, накидывая петлю.

— Понятная история. У нас тут таких половина, все из дивизионных да армейских, — он затянул узел и подёргал. — Ты вот чего, друг, послушай доброго совета, покамест тебя никто не слышит.

— Слушаю тебя внимательно.

— Ты про свою прежнюю службу тут не рассказывай.

— А почему не рассказывать?

— А потому, что тут все были где-то, — он распустил узел и начал сызнава. — Тут, знаешь, у каждого второго Сталинград, у каждого третьего Ржев, а у Луконина, говорят, вообще финская, хотя по годам не сходится. Начнёшь рассказывать — тебя слушать не станут, а начнёшь молчать — сами спросят.

— А если не спросят?

— Значит, и рассказывать не о чем, — заключил он и передал верёвку соседу.

Я потом много раз вспоминал этот разговор.

Потому что за первые три недели в бригаде меня не спросил никто.

Полоса была на восьмистах метрах.

Я потом узнал, что её строил сам Гурьянов и что она копировала не полосу вообще, а конкретный немецкий опорный пункт, взятый бригадой в июле под Спас-Деменском. С теми же размерами, с той же высотой стенки, с той же шириной рва.

Ров. Проволока в три кола. Стенка два двадцать. Окно в кирпичной кладке на высоте плеча. Труба. Насыпь. Траншея. И в конце — дзот с амбразурой.

Шли по четверо, с интервалом.

Мою четвёрку вёл сержант Луконин.

Тот самый, с турника.

Ему было года двадцать три, и он был на голову выше меня, широкий в плечах и очень красивый — из тех, кого на фотографиях ставят в центр. Из разведки. Два ордена.

Он оглядел меня перед стартом сверху вниз, не торопясь, как оглядывают лошадь.

— Ковалёв, что ли? — оглядел он меня. — Ты, говорят, минёр.

— Сапёр, а не минёр.

— Один хрен, — он поправил нагрудник и подёргал за нижний край. — Слушай сюда, — предупредил он. — Чтoб потом обид не было. Идёшь последним. За мной не гонись,

я тебя ждать не стану. Упал — вставай сам, руки не подам.
— А если не встану?
Луконин посмотрел на меня и, кажется, слегка удивился.
— Тогда тебя подберут, — уронил он. — После нас всегда кто-нибудь идёт и подбирает.

Он натянул на голову каску, постучал по ней костяшкой и подёргал ремешок под подбородком — коротко, двумя пальцами, как проверяют подпругу.

— Слышь, минёр. Ты, главное, на рву не гордись.

— Это как?

— А так. Все новые на рву гордятся, — Луконин поглядел вперёд, туда, где под низким утренним небом чернела полоса. — Он три с половиной метра. Ты его с первого раза не возмёшь, никто не берёт. И вот тут человек начинает разбегаться в третий раз, в четвёртый, в пятый, покамест не сдохнет.

— А надо как?

— А надо спуститься и вылезти, — произнес он. — Это двадцать секунд потери. А пятая попытка — это три минуты и отбитые рёбра.

Он повернулся к остальным.

— По местам. Ждём свисток.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.